
Кирилл Сирутис
том III
Тени,
что шепчут
имена

Кирилл Сирутис

Тени что шепчут имена

https://litres.ru/74807704
SelfPub; 2026

Аннотация

Год назад умерло солнце. Остался только кусочек последний, тот, что не сумели забрать, и он до сих пор горит где-то на юге, за землями, куда не ездят. Крестоносец везёт туда письмо, написанное Рораном человека, которого деревня считает мёртвым, а голос которого по ночам идёт вдоль дороги и считает. Похоронным счётом: ровно, без пропусков, доводя каждое число до конца. И чем дальше на юг, тем яснее становится отряду: счёт не догоняет их он идёт к кому-то. На юге считать вслух запрещено. За это там не платят серебром, как на севере, там переписывают. Но у дороги свои знаки: три черты и точка, оставленные теми, кого Церковь вычистила из счёта. Впереди брод, где вода не слышит шагов. Старые копи, под которыми счёт идёт с зимы. Караван, который везёт не муку. И дом, где девочка вырезает последнее солнце тринадцатое, которое ведёт не обратно.

А в конце дороги их ждёт грамота, подписанная одной рукой ещё до всего. Потому что Север не собирался идти на юг.

Север был подписан заранее.

Содержание

Глава 1. Дорога, которая считает 4
Глава 2. Чужие смерти 11
Глава 3. Застава 17
Глава 4. Вода, которая не слышит 23
Глава 5. Шаг, который сбился 27
Глава 6. Тот, кто не ставит 32
Глава 7. Ритм 37
Глава 8. Развилка без счёта 46
Глава 9. Тот, кто не забрал выигрыш 51
Глава 10. Туман шёл за ним по работе 54
Глава 11. Дом, из которого считают 59
Глава 12. Счёт, который не закрыли 64
Конец ознакомительного фрагмента. 67

Кирилл Сирутис
Тени что шепчут имена

Глава 1. Дорога, которая считает

Юг начинался не границей. Юг начинался письмом.

Ливия вышла к южным воротам с рассветом — раньше, чем встали ворота. Она держала пакет, перетянутый суровыми нитками, узлы завязаны так, как завязывают только то, что не должно развязаться само. Пакет она не передала никому из тех, кому положено передавать пакеты.

— Я повезу, — сказал Крестоносец.

— Нет. — Ливия положила пакет в повозку, в середину соломы, между мешками с зерном, и укрыла так, будто укрывала не бумагу, а живое. — Письмо едут отдавать. Отдавать не ездят — доезжают. Ты едешь к другому.

— К чему?

— К тому, что письмо — это строка, — сказала Ливия и посмотрела на него так, как смотрела на книги. — Ты её пока не открыл. И я не советую. Не все строки написаны для того, чтобы их читать в дороге.

— Кому оно адресовано?

— Ты знаешь. — Она отряхнула ладони от соломы. — Той, кто режет солнышки. Я писала с Рорана, слово в слово.

Он диктовал медленно, как диктуют то, что боятся не успеть.

Крестоносец посмотрел на повозку. Зерно мешками, бочка воды, куль с инструментами — обычная поклажа людей, которые едут далеко и не уверены, что едут обратно. Письмо лежало в середине, и его не было видно. Так и должно: писал его человек, которого деревня считает мёртвым, а голос которого по ночам идёт по югу и считает. Отдавать не ездят — доезжают. Ливия умела укладывать в одну фразу то, над чем другие пишут письма.

Элиана уже попрощалась — накануне, при свечах, которых у неё не было. Дойдёшь до заставы — не оглядывайся. Весталка без свечей идёт не от Церкви, а к тому месту, где ей наконец можно ответить, зачем она её покинула.

Гробовщик вышел к воротам последним и самым широким образом: с лопатой на плече и двумя лопатами в телеге. Так он всегда появлялся в дороге — как человек, который едет по работе и не хочет, чтобы его работа была заметна раньше его.

— Четверо, — сказала Эйра, глядя на ворота. — Хорошо. С год, как солнце умерло, до конца доходят трое из четверых.

— Это говорили про север, — сказал Крестоносец.

— Про дорогу, — сказала Эйра. — Дорога одна. Разница есть.

Гробовщик хмыкнул и поправил лопату.

— Разница есть, — согласился он. — Но не та, о которой ты думаешь.

Их было четверо. Двое остались позади: Трисс — держать Тенебрис вместе с Ливией, которая умела держать города. А Вейру туман забрал ещё на севере — она шла со счётом, который доходит до конца, и туман берёт тех, кто ещё держится. Гробовщик принял её так, как обещал: молча и по работе.

Никто не спросил его, о какой же. С Гробовщиком вообще редко спрашивали. Он был из тех людей, чьи слова ложатся в разговор как камни в брод: не сразу понимаешь, зачем они там, а потом оказывается — по ним переходят.

Ворота встали. Стражники на стене смотрели поверх них — как смотрят на тех, кого приказано не замечать. Крестоносец обернулся на холм у ворот один раз. Там, под маленьким белым камнем, к которому снег ложился с северной стороны и не ложился взгляд, лежала строка «Должен вернуться». Он отвернулся. Конь понёс его на юг.

Туман в тот год взял не одного. Мальчика, которого искали весь год, — и Вейру, чья строка уже доходит. Этого не написал ни один отчёт: отчёты писала Церковь, а Церковь не считала тех, кого забрал туман.

* * *

Первые вёрст дорога шла как любая дорога: пыльная, с колеями, с сороками, которые ссорились на столбах. К полудню выяснилось самое странное — и самое нестрогое из того, что случилось с ними за год.

Дорога не слушала.

Север слушал шаги и запоминал. Север брал счёт с чело-

века, как берут подать, — и потому там счёт был молитвой: пока считаешь, тебя записывают. Здесь не было ничего. Юг шёл под копытами как чужая земля, к которой тебя не представляют, — и в этой обыкновенности была какая-то обида. Дорога, которая не считает, — это дорога, за которой не следят. Эйра первой поняла, что это не облегчение.

На второй день пути она подъехала вровень и спросила — спокойно, как спрашивают о ветре:

— Ты заметил, что на юге никто не считает вслух?

— Заметил.

— На севере счёт был молитвой. Здесь он — приговор. — Она кивнула на встречных. Старик, вёзший сено, повёз голову вниз и не поднял её до самого поворота. Женщина с корзиной держала корзину перед собой, как щит. — Смотри на руки. У всех на севере руки считали. Здесь руки прячут.

На столбе у перекрёстка висела свежая бумага, прибитая четырьмя новыми гвоздями — гвозди блестели, бумагу вешали недавно. Крестоносец подъехал и прочёл. Грамота была написана крупно, для неграмотных — по верхней строке шёл рисунок: рот, открытый, с перечёркнутым счётом пальцев. Ниже шла строка, которую в Тенебрисе переписали бы без колебаний:

«Считать вслух — запрещено».

Ниже были подписи — много подписей, и все они были сделаны одной рукой.

Эйра тоже прочла. Потом сняла перчатку и провела паль-

цем по столбу — не по бумаге, по дереву, ниже гвоздей, где старая древесина была темнее. Там, почти стёртый, был знак: три черты и точка.

— Северный знак, — сказала она. — Дорожный. Ставят свои для своих. — Она надела перчатку. — Здесь свои тоже есть. И у них старше память, чем у Церкви грамота.

Гробовщик, ехавший позади с лопатами, сказал только:

— Не трогайте её. Кто ставил — тот увидит, что заметили, и уйдёт. Найдёт нас сам, когда сочтёт нужным. Такие всегда находят первыми тех, кто умеет не искать.

Крестоносец кивнул. За год он научился самому дорогому умению на свете — отличать людей, которых надо искать, от людей, которые сами придут. Первые были Церковью, вторые — теми, кого Церковь вычистила. Со вторыми пока везло.

* * *

На третью ночь, у низкого костра, заговорили о мальчике.

Говорить о нём они начали не сразу и не словами. Эйра положила в огонь три полена — и остановилась на четвёртом, держа его в руке, пока не прогорели первые. Гробовщик посмотрел на её руку. Крестоносец смотрел в огонь. Никто не произнёс имени, потому что имя было тем, что осталось: мальчика не нашли. После последнего боя, после тумана, после строки, которую он принял как приглашение, — его искали все, кто умел искать, и нашли только то, что умеют находить все: след, который обрывается не потому, что обры-

вается, а потому, что дальше пошёл счёт.

— С той стороны, — сказал Гробовщик, — живых не держат. Это я тебе как специалист говорю: в моём деле живых не бывает.

— Тогда где он? — спросила Эйра.

— Не знаю, — сказал Гробовщик и впервые за разговор соврал так плохо, что оба это заметили.

Он знал. Не про мальчика — про счёт. С той стороны кто-то вёл счёт, и счёт этот с каждым днём сходился. Гробовщик знал чужие смерти, как другие знают чужие имена, — и в этом счёте было одно место, которое он не мог прочесть: оно было написано живой рукой. Он не сказал об этом. Он сказал другое, и это было ближе к правде, чем всё остальное, что он мог бы сказать:

— Мёртвые мне не ответят на этот вопрос. Пока не ответят. Значит, искать надо не у них.

— А у кого?

— У живых, — сказал Гробовщик и подбросил в огонь то самое четвёртое полено, которое Эйра так и не положила. — У живых в таких делах всегда есть то, чего нет у мёртвых. Надежда на ошибку.

Крестоносец молчал всю ночь до утра. А на рассвете, когда Эйра проверяла копыта, он встал на край дороги, где начинался прибой пыли, и сделал то, что не делал никогда: он попытался услышать счёт. Не вести его — услышать, как считает кто-то другой. Мальчик, который считал весь город,

счёл бы эту попытку неправильной: счёт не слушают, счёт ведут. Но Крестоносец не умел по-мальчичьи, и потому услышал то, что умел услышать человек без лица: тишину, которая слишком старательно молчит.

Кто-то на этой дороге не считал вслух не потому, что запрещено.

Кто-то считал вслух потому, что так считают по-похоронному.

Голос шёл с юга, вдоль дороги, ровный и медленный, как вода в канаве. Он не был громким. Он не был даже слышен — он был угадываем, как угадывают чей-то шаг на знакомой лестнице. И он считал не до числа. Он считал по числам, как идут похороны: размеренно, без пропусков, доводя каждое до конца, чтобы никто не остался недосчитанным.

— Роран, — сказала Эйра тихо.

Крестоносец не ответил. Он смотрел на юг, где за полосой пыли поднималось то, чего не видел уже год, — слабое, ночное, невозможное сияние, которое не было ни зарёй, ни пожаром. Там, за южными землями, ещё горело солнце. Кусочек. Остаток. То, что не сумели забрать.

— Доезжать, — сказал он наконец.

И они поехали — четверо там, где задумано было трое, с письмом в соломе, с именем мальчика, которое никто не произносил, и со счётом, который шёл рядом с дорогой всю ночь и не оглядывался, — потому что мёртвым никогда не бывает дела до тех, кто ещё едет.

Глава 2. Чужие смерти

Ночь прошла под счёт.

Голос шёл западнее дороги и доводил числа. Теперь они знали, что он делает: не идёт — доводит. Каждый счёт он доводил до конца, ровно, без пропусков, как доводят похороны. Мёртвому без конца строки нельзя. Вот он и доводит.

К рассвету голос отстал — не замолчал, а отстал, как отстаёт тот, кому дорога повернула не по пути. Гробовщик прокомментировал это утром одной фразой, и Эйра запомнила её:

— Доводящий счёт не догоняет живых. Мы для него — поправки. А поправок он не признаёт.

* * *

Утром, на девятой версте, Гробовщик сказал «по работе» и свернул с дороги.

— Здесь никто не умирал, — заметила Эйра.

— Здесь всегда кто-то умирал, — сказал Гробовщик. — Просто не все об этом написали.

Могила стояла на пригорке в сотне шагов от дороги: одинокая, без ограды, с осевшим холмиком и деревянным крестом, у которого дожди съели перекладину. Вместо второй кто-то приладил свежую ветку — поправил и уехал. Или утомился. Или умер дальше по дороге.

— Он меня позвал, — сказал Гробовщик, пока они шли

через мокрую траву.

— Кто? — спросила Эйра.

— Никто. — Он переступил канаву. — Но безымянные зовут сильнее всех. Другого способа у них нет.

Он работал без спешки, как работают люди, чьё дело всё равно их дождётся: выровнял холмик ладонью, вытащил накренившийся крест, вкопал глубже, примял землю. Потом сел на край могилы — не так, как садятся на могилы, а как садятся на скамью у дома знакомого. Крестоносец остался стоять. Эйра привязала лошадь, села рядом и достала сухарь: она умела садиться где угодно — привычка палубы.

— Зачем? — спросил Крестоносец. — В стороне от дороги. Без имени. Его никто не ищет.

— Поэтому и надо, — сказал Гробовщик. — Живой помнит себя и без бумаги. А мёртвому, если при нём ничего не написали, читать нечего. Он остаётся с пустой строкой. А пустая строка — не тишина, рыцарь. Это вопрос, который задают бесконечно — и не по адресу.

— Ты читаешь их?

— Когда написано. Мёртвые читают только написанное — им больше не на что смотреть. — Гробовщик положил ладонь на холмик и держал её так, как держат на пульсе. — Чужие смерти — единственное, что мне дают читать. Свою не дают никому.

— А если бы дали?

— Не дали бы. На то она и своя.

Эйра смотрела на дорогу. Она умела не смотреть туда, куда хотелось.

— Прочти мою, — сказал Крестоносец.

Гробовщик поднял голову медленно — так поднимают голову не к собеседнику, а к строке, которую перечитывают, чтобы не ошибиться.

— В муках, — сказал он.

Ветер на пригорке не шевельнулся. Эйра перестала жевать.

— Когда? — спросил Крестоносец.

— Дат на строках не пишут. Пишут — чем. — Гробовщик убрал руку с холмика и вытер ладонь о штаны, как вытирают после чужой смерти. — Муки — это не боль. Боль — это тело. Муки — это когда тебе разом дадут узнать всё, что ты сделал, — целиком, до последней чёрточки, и не дадут лечь. Это и есть муки.

Крестоносец кивнул — как кивают цене. Он был из тех, кто цену принимает не торгуясь: десять лет он платил сам и знал, что после платы бывает тишина.

— А ты? — спросил он. — Как умрёшь ты?

— Не знаю. — Гробовщик ответил без паузы — так отвечают не на вопрос, а на тот, который носят давно. — Собачья смерть, наверное. Собакам тоже не пишут. Собаки умирают так, как успели.

— Ты сказал это легко, — заметила Эйра, не поворачиваясь.

— Я всё говорю легко. Лёгкость — то, что остаётся, когда тяжёлое дописано.

Она обернулась — коротко, одним движением — и снова к дороге. Но Крестоносец успел увидеть её лицо и понял то, чего она не сказала: лёгкость у этого человека была не свойством. Она была работой.

— А если строка написана криво? — спросила Эйра. — Её можно переписать?

Гробовщик посмотрел на неё так, как смотрят на того, кто первым спросил вслух то, что все до него боялись спросить молча.

— Переписать можно всё, — сказал он. — В моём деле я видел переписанные строки. За каждую платили тем, что в строке было. Всегда — тем, что в строке было. — Он помолчал. — Поэтому переписывают редко. Не из страха. Из арифметики.

Крестоносец стянул перчатку с левой руки — он давно носил только одну — и положил ладонь на свежий срез креста. Дерево было тёплое от солнца. Он держал ладонь, пока тепло не стало его собственным, потом надел перчатку обратно.

— Слышу? — спросил он.

— Нет, — сказал Гробовщик. — Слушай. Это разное, как «есть» и «был». Ты пока слушаешь.

— Что он говорит?

— Ничего. Ему нечего читать. — Гробовщик поднялся, отряхнул штаны. — Вот я ему сейчас допишу.

Он наклонился к могиле и сказал — негромко, но в голос, как говорят слова, которые должны быть услышаны:

— Ты был.

И всё. Больше он не сказал ничего. Больше писать было нечего — и, кажется, больше тот, под холмиком, и не просил.

* * *

— Работа сделана, — сказал Гробовщик.

Он пошёл к повозке, и Крестоносец — впервые за десять лет — вслушался в шаги живого человека. У Гробовщика были шаги, которые запоминались: не стук — счёт. Шаг на твёрдое, шаг на мягкое, шаг на твёрдое. Так идут те, кто всю жизнь меряет землю и знает, что земля отвечает не всем и не всегда.

Уже у повозки, взявшись за дугу, Гробовщик сказал, не оборачиваясь:

— К ночи голос вернётся. Доводящий счёт всегда возвращается.

— А когда доведёт? — спросила Эйра.

— Тогда — тишина. — Он перекинул ногу на облучок. — Из тишины выходят только двое: кто досчитал — и кого досчитали.

Повозка скрипнула и пошла на юг. Шаги Гробовщика — там, сзади, у колёс — вели свой ровный счёт: шаг на твёрдое, шаг на мягкое, шаг на твёрдое.

Крестоносец запомнил их такими.

Мёртвые читают только написанное. А живые запоминают

на слух.

Глава 3. Застава

Застава юга не строилась для людей. Она строилась для единиц.

Окно приёмной прорезали на высоте глаза и ширине лица — и не больше. Если подходили двое, второй ждал за выступом стены, где его не было видно: пока единица шла к окну, она ещё была возможностью. Как только их становилось двое, они становились партией, а партии юг не обслуживал. Партии считали.

Отряд разошёлся заранее — за версту до заставы Эйра повела рукой, коротко, по-корабельному, и вёрсты разобрались сами: Крестоносец — первый, Эйра — следом, повозка — последней. Повозку у застав не задерживали. Повозка не считалась — считался тот, кто её ведёт.

* * *

— Имя? — спросил смотритель в окно.

— Имени нет, — сказал Крестоносец.

— Бумага?

— Бумаги нет.

Смотритель взвесил его взглядом — так взвешивают не человека, а запертый ларец: не открывая, прикидывают, тяжёлый ли. На юге весили. Взвешивать не было запрещено — грамота запрещала считать вслух, а вес молчал. На этой разнице юг и стоял: всё, что нельзя было назвать числом, назы-

вали весом, и это сходило за честь.

— Проезжайте, — сказал смотритель.

Он не знал, что пропустил человека, которого три года ищут за то, что тот считает. Крестоносец на юге не считал: походка его была выучена так, как выучивают чужой язык, — в совершенстве и без удовольствия. Шаг шёл ровный, без такта, ни на что не похожий — шаг, который счёт не берёт.

На стене, сбоку от окна, висела бумага. Крестоносец прочёл её глазами, не повернув головы, — так читают то, что написано про них.

«Разыскивается считающий. Имени нет. Приметы: походка счётная. Лицо без памятности. Кто укажет — получит имя».

Ни рисунка. Ни награды серебром. Имя — за имя. На севере за голову платили серебром. На юге — переписывали.

— Привычку можно снять, как перчатку, — сказала Эйра, когда они вышли из приёмной. — Строку — нет.

— Я знаю, — сказал Крестоносец.

— Я знаю, что ты знаешь. Я говорю для того, кто едет сзади.

Гробовщик в повозке не отозвался. Он держался за темя и смотрел на заставу так, как смотрят на дом, в котором когда-то занимали комнату.

* * *

Комендант вышел, когда повозка уже стояла на весах двора.

Это был человек в самой середине лет — ни старый, ни молодой, такой, какими бывают люди, живущие при счёте: ровные, как весы, вся жизнь которых отложилась в коромысле. Он смотрел на повозку, потом на Крестоносца, потом снова на повозку — и просил у судьбы только одного: чтобы повозка не весила лишнего.

— Из чего груз? — спросил он.

— Зерно, — сказала Эйра. — Вода. Инструменты.

Комендант кивнул и сам откинул угол брезента — это разрешалось: вес проверяют, счёт не проверяют. Под брезентом лежали мешки, бочка и лопаты. Гробовщик сидел среди поклажи, как сидят инструменты: неподвижно и к месту.

— Лопаты, — сказал комендант.

— По работе, — сказал Гробовщик, не открывая глаз.

— Какая работа на юге, гробовщик?

— Всегда есть, — сказал Гробовщик. — Люди едут.

Комендант посмотрел на него дольше, чем следовало. Потом опустил брезент и распорядился пропустить — но прежде, чем повозка тронулась, сказал Крестоносцу тихо, в сторону, как говорят то, за что не платят:

— Зимой я пересчитал гарнизон. Сошлось — на одного меньше.

— Лишний?

— Недостающий. — Комендант произнёс это так, как говорят слово, которое выучили ценой. — Разница есть. Лишний — тот, кто пришёл. Недостающий — тот, кто был. И

недостающий — не лишний. Он первый. Всегда первый, кому ушедшее место отдают счёт.

Он помолчал.

— И ещё. Считающего не ставьте ни первым, ни последним. Первый помнит всё. Последний помнит остальное. Кто-то должен стоять в середине — там, где счёт держит сам себя.

Крестоносец запомнил. Он запоминал распоряжения так, как другие запоминают лица: навсегда и без причины. Причина была. Тот, кто живёт при счёте, всегда узнаёт причину позже, чем цену.

* * *

За заставой, у колодца, сидел человек и чинил упряжь.

Он чинил плохо — так чинят люди, у которых руки привыкли к другому делу. Его путаница выдала бы его раньше документов, если бы у него были документы. Документов не было. Вместо имени на поясе у него висела дощечка с одной буквой — «Ты».

— Вычеркнутый, — сказала Эйра, не поворачиваясь. Она узнала их по тому, как они не прячутся. Прячутся те, кто боится, что найдут. Вычеркнутых уже нашли.

Он действительно не прятался. Он поднял голову, посмотрел на отряд — и посмотрел дольше, чем вежливо. Потом подошёл — молча, неспешно, как человек, у которого нет торопливости, потому что спешить ему некуда: его место уже помечено.

У колодца, ниже ведра, на дереве был знак. Эйра заметила

его раньше, чем человек заговорил: три черты и точка. Свежий. Резанный ножом, уверенно, одной рукой.

— Это ваша работа, — сказала она. Не спросила.

— Моя, — сказал человек. Голос у него был ровный, без обиды и без страха: обида и страх — это тоже счёт, а он уже больше не считал. — На юге ставят и ставят. Кто видит — тот свой. Кто не видит — тот мимо.

Он повернулся к повозке и сказал то, из-за чего Крестоносец потом вспомнит эту остановку чаще, чем заставу и коменданта вместе взятых:

— Вчера через окно прошёл второй, кто не сбился. Ваш — не сбился. И второй не сбился. Ни один его шаг не лёг на землю.

— Кто это? — спросила Эйра.

— Играющий, — сказал человек и вернулся к упряжи. — На юге его больше никак не зовут. Кто назовёт по имени — останется его строкой.

Гробовщик в повозке не открыл глаз. Но рука его, лежавшая на темени, на секунду сжалась — и Эйра увидела это.

* * *

Ночью голос Рорана сделал то, чего не делал ещё ни на севере, ни на дороге.

Он прибавил.

Голос доводил счёт — и вдруг, на середине числа, прибавил единицу и продолжил дальше, как продолжают пересчёт, а не доведение. Эйра села у костра и слушала, не дыша. По-

хоронный счёт не прибавляет. Похоронный счёт закрывает.

— Так не считают умерших, — сказала она. — Так пересчитывают, когда кто-то появился.

Крестоносец смотрел на юг, где за пылью дороги поднималось слабое ночное сияние — кусочек солнца, которого не сумели забрать. Голос Рорана шёл по дороге на юг, и счёт его прибавлялся. Не убавлялся. Прибавлялся.

Кто-то на юге был, и голос это знал раньше них.

Кто — отряд не произносил. Имя было тем, что берегли. А у берегов всегда есть запах воды.

Глава 4. Вода, которая не слышит

Река открылась к вечеру третьего дня — не блеском, а тишиной: птицы за ней не пели, и ветер за ней не менялся.

Перевоз был единственный на десять вёрст. Паром ходил на канате от берега до берега, и держал его человек, который, кажется, родился на этом канате: старик с лицом, которое вода лила до гладкости. Он брал не деньгами — брал счётом: сколько пассажиров, сколько вёрст, сколько жизней за спиной. Так он считал и расстояние, и плату — и никогда не ошибался.

— До какого города едете? — спросил он, заводя паром.

— До южного, — сказал Крестоносец.

— А южный какой? — спросил перевозчик.

— Порт, — сказала Эйра.

— Порт на юге один, — согласился старик. — Городов — много.

Гробовщик, сидевший в пароме, спросил — второй раз за день, так же ровно, как в первый:

— До какого города мы едем?

Эйра положила ладонь ему на руку — там, где бортик, где дерево дрожало от каната.

— Не читай один, — сказала она тихо.

Он не понял. Он слушал не её — он слушал воду.

Вода не слышала. Так звался этот брод — «Вода, которая

не слышит», и названия у бродов не бывают случайными: их дают те, кто платил за знание. Вода не слышала шагов, потому что шаги над ней не звучали: перевозчик грёб в счёт — в такт счёта, которого не было, — и на середине реки наступало то, чего не было ни на одной дороге юга: тишина, у которой есть дно.

— Не читайте, — сказал перевозчик. Он грёб и не поднимал глаз. — Середина — не место для чтения. Что услышите на середине, будет не ваше.

— А если будет наше? — спросила Эйра.

— Тогда тем хуже, — сказал перевозчик. — Своё слышат дольше.

Они прошли середину в тишине. Гробовщик держался за темя — так держатся за обруч, который сняли, а голова ещё помнит. На середине реки он сбился на тринадцатом шаге — впервые за десять лет: он не шёл, он сидел, и шагов у него не было, но сбой был, и все трое его слышали.

На тринадцатом шаге он кивнул эху. Эха не было. Эйра не сказала ему этого — она держала ладонь на его руке, и ладонь слушала то, что не читала.

На другом берегу он оглянулся на воду — впервые за переправу — и спросил то, чего не спрашивал:

— Мы уже переправились?

— Уже, — сказал Крестоносец.

— Везли нас, — сказал Гробовщик и посмотрел на воду ещё раз. — Хорошо. Везти легче, чем идти. Меньше шагов,

меньше счёта. Меньше счёта — меньше...

Он не договорил. Не потому, что сбился. Потому что счёл нужным не договаривать — и это было то же самое.

* * *

Ночью, у малого костра, он заговорил первым. Так он не заговаривал никогда: за год Гробовщик говорил тогда, когда его спрашивали, — и редко, когда спрашивали дважды.

— Старые копи, — сказал он. — У ольховой гряды, восточнее брода, за холмом. Дороги туда нет, но тропа осталась: муловая, узкая. По ней ходили, пока ходили.

— Копи чего? — спросила Эйра.

— Соли, — сказал Гробовщик. — А потом — не соли. Копи кончились, а счёт не кончился. Под землёй там идёт счёт — с зимы. Я его слышал: он не стихает, он идёт ровно, как вода в трубе. И оно счёт сбивает.

— Оно?

— То, что встретило Рорана, — сказал Гробовщик ровно. Он говорил о Роране без обиняков: мёртвых называют по имени живые — это правило старше всех грамот. — Роран умер в большой воде. Под молом. И то, что его встретило, не ушло. Оно ждёт.

— Ждёт нас?

— Ждёт того, кто умеет считать в темноте, — сказал Гробовщик. — Там темнота старше Церкви и глубже грамоты. Кто спустится — начнёт считать. А пока считает — его помнят. Пока помнят — его видно.

Крестоносец молчал. Он смотрел на восток, где за холмом не было видно ничего, — и это было самым точным описанием копей: их не было видно, и это описывало их лучше любого счёта.

— Запомните дорогу к копям, — сказал Гробовщик. — Нам ещё сюда возвращаться. Я не знаю когда. Но дорога, которая привела нас на юг, вернёт нас и к копям: дороги не бывают односторонними, если по ним едет счёт.

Эйра не спросила, откуда он знает. Она поняла: оттуда, откуда знают мёртвых, — со стороны, где счёт уже написан, и читать его можно только до тех пор, пока не начнут читать твоего.

Утром Гробовщик забыл разговор. Спросил, где они. Спросил, до какого города едут. Спросил про брод — и был прав, что брод был: он не помнил, как переправлялся, и это было к лучшему. То, что не запомнилось, не тянет.

Он ещё не знал, что тянут не воспоминания.

Тянет счёт.

Глава 5. Шаг, который сбился

Переправа осталась позади, а с ней ушло и то, на чём держался счёт дороги: шаги Гробовщика.

Он пересел в повозку — сказал «лопаты скребут», и никто не спросил, с чего лопаты скребут в четырёх верстах от воды. Крестоносец ехал впереди и слушал дорогу так, как слушал её год, — и не находил счёта, который привык находить: шаг на твёрдое, шаг на мягкое. Дорога стала на один голос короче. Короткая дорога — это дорога, где нечем замыкать.

* * *

На ночлеге Гробовщик держался за темя.

— Голова? — спросила Эйра.

— В голове, — поправил он. — Голова — это дом. А в доме кто-то пишет. Не по адресу.

Она коснулась его виска. Висок был холодный — как вода на переправе. Она не сказала этого вслух: сравнения с водой в их отряде уже стоили дорого.

* * *

Ночью он сбился во сне.

Сначала — в счёте: заговорил и стал считать. «Тринадцать, — сказал он вслух, — четырнадцать...» Эйра накрыла его рот ладонью: грамота висела на каждой заставе от них до моря, и не важно, что ближайшая застава была за десять вёрст. Слово, сказанное в открытой степи, дороги разносят

быстрее конных.

Он проснулся под её ладонью и посмотрел на неё — и глаза смотрели не на неё, а сквозь.

— Прости, — сказал он. — Я считал не вас. Я считал место.

— Какое?

— Одно в счёте. Написанное живой рукой. — Он помолчал. — Оно закрылось. А закрытое место, Эйра, тянет читающего. Как тянет недописанное письмо.

Она убрала ладонь. Рука была тёплая от его дыхания, и это было хуже всего: живое тепло он чувствовал — а её имя вспомнил не сразу.

— Как меня зовут? — спросила она ровно.

Он ответил правильно. Но пауза перед ответом была на полшага длиннее, чем нужно, и Эйра запомнила и паузу, и то, что полшага — это уже расстояние.

* * *

Утром он позвал Крестоносца к повозке — и это тоже было впервые: Гробовщика не звали. Гробовщика находили.

— Если я перестану считать, — сказал он, — считай за меня.

— Что значит — перестану?

— Шаги. Мой счёт в шагах. Живой, который не считает, — это долг без расписки. Недосчитанного поминают недосчитанным: могилу такого не найдёт и письмо к нему не дойдёт.

Крестоносец кивнул — как кивают цене.

— А если я перестану узнавать вас, — Гробовщик сказал это так, как говорят о погоде на завтра, — то вы всё равно считайте меня живым. До последнего. Живой рукой, командир. Не моей.

Крестоносец хотел спросить, что значит «не моей», и не спросил. Гробовщик умел закрывать вопросы раньше, чем они начинались: он отвернулся к лопатам и начал их пересчитывать. Инструменты он не считал никогда — инструменты у него были в порядке, как у других совесть.

* * *

К полудню они прошли село, которого не было на карте, — потому что карты у них не было: Азарт ещё не показал им ни одной.

У колодца, на уровне глаза, был знак: три черты и точка. Эйра узнала бы его и без остановки. Она остановилась из-за другого: под знаком, свежим углём, была проведена четвёртая черта — другой рукой, более торопливой.

— Кто-то отвечает, — сказала она.

— Дорожная почта, — сказал Гробовщик из повозки. Он не вылез смотреть: он смотрел издалека, и ему хватало. — Знак ставят. Знак читают. Знак дополняют. Сеть, командир. На севере таких сетей Церковь вычистила за одну зиму. Здесь живут.

— И кому пишут?

— Тем, кто умеет не искать, — сказал Гробовщик и впер-

вые за день усмехнулся. — Подходит под описание.

* * *

Ночью голос Рорана сделал то, чего Эйра не слышала ни на севере, ни на дороге.

Он замедлился.

Голос доводил свой счёт — и на тех числах, где днём сбивался Гробовщик, голос не ускорялся, не обгонял, не шёл дальше. Он ждал. Так ждёт не похоронный счёт — так ждёт тот, кто считает вместе и не хочет уходить вперёд от второго.

— Мёртвым не бывает дела до живых, — сказала Эйра в темноту. Она говорила не с Крестоносцем. — Ты же сам говорил.

Голос не ответил. Он досчитал до конца числа — и стал ждать следующего.

Крестоносец лежал без сна и слушал, как мёртвый считает в такт живому. Всё, чему он верил год, говорило, что так не бывает. Но он уже знал цену правилам: они стоят ровно столько, сколько стоит тот, кто их написал.

* * *

Утром, в следующем селе, им указали на человека, который сидел у трактира и смотрел в одну точку.

Он проиграл — сказал трактирщик — всё, что имел, и ещё немного сверху.

— Кому?

— Тому, кто не ставит.

— Так не бывает, — сказал Крестоносец.

— Так и говорили, — согласился трактирщик. — А потом он пришёл. И забрал ставку. Всю. — Трактирщик понизил голос, как понижают его про тех, кого боятся и стыдятся бояться. — Забрал — и не взял. Сказал: «Это не твоя ставка». И ушёл по дороге на юг. Шагов его никто не слышал.

— Когда? — спросила Эйра.

— Вчера. На закате.

Вчера на закате они были в трёх верстах от этого села. Игрок, который не ставит, обошёл их стороной — или шёл рядом, и счёт дороги, который не слушал живых, слушал его.

Гробовщик в повозке сказал — сам, без спроса, глядя перед собой:

— Он уже здесь.

— Ты его знаешь? — спросил Крестоносец.

— Я его слышу, — сказал Гробовщик. Он снял руку с темени и посмотрел туда, где дорога уходила на юг. — Рядом с ним в доме тише. Пишущий замолкает, когда приходит тот, кто не ставит. — Он снова положил руку на темя. — Ему нужна не наша смерть. Ему нужна партия. А партия без ставки — это не партия. Это очередь.

Глава 6. Тот, кто не ставит

К ночи они вышли к хутору, у которого не было названия, а было назначение: здесь торговали не зерном и не рыбой — здесь торговали счётом. По крайней мере, так казалось по тому, как во дворе сидели люди и смотрели друг на друга поверх дощечек с нацарапанными числами.

Ловцами их назвала Эйра — тихо, с той ноткой, с какой называют старую беду. На юге счёт был приговором, но приговором торговым: человек мог поставить своё число против чужого. Проигравший отдавал не деньги. Отдавал то, что успел сосчитать за жизнь — рабочие дни, похороны, имена. Проигравший уходил с двора легче на целую биографию.

Азарт сидел в углу у стены. Маска на нём была белая, гладкая, как вымытый месяц: по левой щеке спускались две чёрные слезы, по правой растягивалась чёрная улыбка. Глаза над маской улыбались тоже — оба, ровно, и от этого улыбка на маске казалась сдержанной.

Никто не ставил против него. Игроки подсаживались, смотрели на его дощечку — пустую, без единой нацарапанной цифры — и отходили.

— Он не ставит, — сказал Гробовщик. — Видишь? Все, кто в этом дворе, ставят. Один не ставит. Это тот, кому нечем проигрывать.

— Может, он просто бедный, — сказала Эйра.

— Бедные ставят первыми. Им нечего терять, и это самая громкая монета на свете. Он не ставит по другой причине.

Первый игрок проиграл Азарту сам — подсел, поставил, просчитался. Азарт открыл дощечку: там была ровная строка чисел, выведенная одной рукой, чистой, как бухгалтерия. Игрок побледнел: против него легло всё, что он когда-либо считал, — до последнего дня, до последнего имени покойной матери.

— Это не твоя ставка, — сказал Азарт и не взял.

Игрок смотрел на свою жизнь, разложенную по чужой дощечке, и не понимал, радоваться или кричать. Азарт дождался, пока тот уйдёт, и сказал в пустоту — так, что услышали трое у стола:

— Без счёта сдавать нельзя. Мы не можем сдать того, кого не сосчитали.

Эйра положила руку на стол. Гробовщик — на рукоять лопаты, лежавшей у стены, — просто положил, без нажима, как человек, проверяющий, на месте ли инструмент.

— Ты кто? — спросил Крестоносец.

— Трактирщик, — сказал Азарт. Улыбка на маске не шевельнулась, а глаза улыбнулись шире. — Ночью — тоже трактирщик. Днём бывает иначе, но это вас не касается. Пока.

— А когда станет касаться?

— Когда вы проиграете. Не мне — вообще. Тогда многие вещи станут касаться. — Он подвинул через стол пустую

дощечку. — Садитесь, кто хочет. Ставки сегодня добрые: я принимаю чужие партии.

Эйра первая поняла, о чём он, и произнесла это раньше, чем испугалась:

— Игроки подписывают то, что уже в игре.

— Умная девочка из дома седьмого, — сказал Азарт без интонации, и Эйра впервые за дорогу почувствовала холод не снаружи, а внутри. — Я не втягиваю людей. Я прихожу к тем, чья партия уже идёт, и оформляю бумаги. Вы едете на юг с письмом, за которого вас будут считать, — считайте, что партия начата. Я лишь фиксирую результат. По ходу.

Крестоносец сел. Не потому, что захотел играть, — потому что понял: не сесть значит дать ему оформить партию без одного из игроков.

— Твоя колода мне знакома, — сказал Азарт, когда Крестоносец положил руку на стол.

Крестоносец не играл с ним. У Крестоносца не было колоды. Он поднял голову — и не услышал конца фразы: ветер в тот момент прошёл между ними и забрал остаток. Он услышал только то, что осталось висеть в воздухе, как обрывок чужого разговора на вокзале:

— …читают недописанных. Значит, вы ещё не закончены.

Гробовщик в это время смотрел на Азарта так, как смотрел на покойников, которые не лежат смирно. Потом сказал тихо, не для стола:

— В голове тише.

И это было правдой: писатель, живший в его голове со времён переправы, замолчал — не уснул, а именно замолчал, как замолкают свидетели, когда в комнату входит тот, перед кем они дают показания.

Азарт провёл по столу ладонью — и на столе оказалась карта. Не развёрнутая — просто лежащая, как лежат кости, когда партия кончена. На карте был проведён один тракт. Один. Юг на карте сходился в точку у моря, и точка эта стояла не там, где кончалась дорога, — там, где начинался берег Эйры.

— Вы пойдёте влево, — сказал Азарт. — Не сегодня. Но карта уже это знает.

— Карта не может знать, — сказала Эйра.

— Карта знает всё, что уже в игре. А партия ваша идёт с той ночи, когда вы не положили в огонь четвёртое полено.

Эйра не подала виду, что слышала про полено. Никто из них не говорил об этом с тех пор, как вышел из северных ворот.

— Кому ты служишь? — спросил Крестоносец.

И Азарт ответил — единственный раз за вечер, отбросив маску в тень так, что на секунду стало видно подбородок: молодой, гладкий, как у самого умного мальчика в деревне, которого все недооценили и поэтому постарались забыть.

— Я не на вашей стороне. Я на стороне партии. Той, которая ещё играется.

Утром Азарта во дворе не было. Не было и дощечки —

только квадрат сухого места на столе, будто вещь, лежавшая там всю ночь, не оставила иного следа. Ловцы разошлись до рассвета: у людей, которые торгуют счётом, чуткий сон.

Эйра долго стояла над картой. Тракт на ней был проведён. Новый. Тот, которого они ещё не выбрали, — и на котором уже стояла свежая, чуть не высыхающая чернильная точка у моря.

— Он не сказал, чем берёт ставку, — сказала она. — Запомни это, Крестоносец. Он играет счётом. А счёт — это мы.

Глава 7. Ритм

Утро после Азарта дорога изменилась. Не внешне: та же пыль, те же колеи, те же столбы с потемневшей грамотой. Изменилось то, что под копытами.

Отряд не ложился в ряд.

Крестоносец услышал это раньше, чем понял. Шаги шли не вместе — не потому, что кто-то отставал, а потому, что каждый шагал в свою сторону. Эйра держала ритм коня. Гробовщик в повозке держал ритм сна. Повозка держала ритм колеса. Три счёта шли рядом и не были одним счётом.

Вчера, до Азарта, они шли как один шаг.

— Мы сбились, — сказала Эйра, поравнявшись. Она не смотрела на него. По югу это считалось приличием. — Не по дорогу. По счёту.

— Я слышу.

— Он забрал не их деньги, — сказала Эйра. — Они думали, что ставят серебро. Он забрал их счёт — и раздал его. Ты понимаешь, что это значит?

Крестоносец понимал. Счёт ловцов теперь был в колоде Азарта — как карта, как ставка, как то, что раздают. И дорога, по которой шёл отряд, стояла на счёте ловцов: заставы, версты, повороты — всё это когда-то посчитали, прибили, протоптали. Азарт вынул из этой колоды несколько карт. Дорога под ногами стала игральной.

— С этого места, — сказал Крестоносец, — никто не знает, сколько до следующего поворота. Не примерно. Совсем.

— И нам от этого хуже, чем ловцам, — сказала Эйра. — Они сбились и бросили дорогу. Мы сбиться не можем. Нам некуда бросить.

Она была права, и он не сказал ей этого вслух. По югу не подтверждали правду вслух: правда, сказанная вслух, считалась произнесённой, а произнесённое требовало строки.

* * *

К полудню счёт отряда стал расходиться заметно.

Гробовщик первым заметил бы это раньше всех — он держал в голове счёт до восьмисот покойников, и чужой сбой он слышал, как сапожник слышит чужую кривую подошву. Но Гробовщик с переправы считал только свой сон, и потому первым сбой назвал голос.

Голос Рорана шёл с ними от самой границы — на расстоянии, на котором не стреляют, и с интонацией, на которой не спорят. Он считал их шаги вполголоса, как считают на похоронах: не для того, чтобы узнать, сколько, — для того, чтобы довести. И теперь он сделал то, чего от него никто не ждал.

Он перестал подстраиваться под их сбой.

Вчера голос шёл в такт шагам — вслед за ними, как идёт тень. Сегодня он задал ритм — ровный, медленный, похоронный, — и шаги пошли за голосом. Эйра выпрямилась в седле, когда поняла, что её конь ступает на чётные числа. Крестоносец поймал себя на том, что дышит на нечётные.

— Он нас несёт, — сказала Эйра тихо.

— Он нас держит, — сказал Крестоносец.

Разница была не в словах. Несут — когда везут груз. Держат — когда идут под руку. Крестоносец выбрал второе слово и не объяснил, почему. Эйра не спросила.

Голос замедлялся на числах, где сбивался Гробовщик. Это они заметили ещё на переправе, но теперь замедление стало видно как система: на сорок третьем шаге голос держал число дольше, чем держат звук, — и в повозке просыпался Гробовщик, чтобы сделать шаг, который он пропустил во сне. Мёртвый считал в такт живому, на живого тратил паузы. Мёртвые так не делают.

— Он нарушает своё правило, — сказала Эйра. — Мёртвые читают только написанное. А мы ещё не написаны.

— Значит, — сказал Крестоносец, — мы уже читаемся.

* * *

На ночлег встали у старой криницы — каменный колодец, крышки нет, вода отдавала железом. Эйра развела огонь малым, в полторы ладони. Села. Сняла перчатку, чтобы греть пальцы, — и заметила, что греет их не об огонь.

Она грела их о карту.

Карта Азарта лежала у неё на коленях с вечера — так, как лежат документы, которые никто не решился убрать в сумку. Одна дорога на карте была подписана. Вторая — нет. На неподписанной, у самого края, стояла точка.

Эйра смотрела на точку так долго, что Крестоносец спро-

сил:

— Что там?

— Берег, — сказала Эйра и сама не поняла, почему сказала это так быстро. Потом медлила, как медлят перед прыжком в воду, и добавила спокойно: — Я знаю этот берег. Я на нём родилась.

Крестоносец молчал. Гробовщик в повозке молчал — он не спал, он делал вид, что спит, и делал это уже лучше, чем спал.

— Точка стоит у моря, — продолжила Эйра ровно. — Азарт не подписал дорогу, но подписал берег. Значит, дорога не важна. Важен берег. — Она свернула карту. — Я знаю, что там за берег. И я молчала бы ещё, если бы молчание было нашим.

— Что там?

— Лоцманская деревня. — Эйра положила перчатку обратно. — Моя. Нас было тридцать четыре дома. Когда солнце умерло, дома стали считать себя. Не людей — себя: сколько брёвен, сколько гвоздей, сколько досок в лодке. Грамота потом запретила и это. Дом, который пересчитал себя вслух, разбирали соседи. Доска к доске. Чтобы не осталось лишнего. — Она усмехнулась, но усмешка не дошла до глаз. — Я увела лодку в тот день, когда пересчитывали дом №7. Мне было четырнадцать. Я и не знала, что ухожу. Я думала — отойду на воду, покуда считают.

Крестоносец не сказал ничего из того, что мог бы сказать.

Про «дом» он в этой жизни уже слышал одно слово и берёг его.

— Азарт знает про деревню? — спросил он вместо.

— Он знает про берег, — сказала Эйра. — А берег длинный. И по нему идут все, кто едет на юг: к солнцу через море. — Она подняла на него глаза. — Мне не нравится, что он подписал точку. Игроки подписывают то, что уже в игре. Остальное они держат в колоде.

* * *

Ночью Гробовщик проснулся, сел в повозке и сказал громко, в темноту:

— Завтра.

Эйра подняла голову.

— Что завтра?

— Мы вчера доехали, — сказал Гробовщик уверенно. — Я помню. Мы вчера доехали до переправы.

— Переправа была три дня назад, — сказала Эйра. — Мы едем на юг. Сегодня — среда ночлега у криницы.

Гробовщик помолчал. Потом сказал с той же уверенностью:

— Сегодня мы доехали до переправы.

Эйра не стала спорить. Она подошла, накрыла его плечо. Гробовщик посмотрел на её руку, потом на неё, и лицо у него стало ясным и усталым сразу, как бывает у тех, кто вернулся издалека и не хочет говорить, откуда:

— Не смена ли часов? — спросил он почти спокойно. —

Который год?

— Тот же, — сказала Эйра. — С год, как солнце умерло.

— Год, — повторил Гробовщик и кивнул, как кивают собеседнику, которого понял и которому не поверил. — Хорошо. Тогда всё сходится, кроме меня.

Он снова лёг. Эйра осталась стоять. Крестоносец подошёл к повозке — тихо, чтобы не чавкали копыта, — и спросил шёпотом:

— Голова?

— Тише, чем вчера, — сказал Гробовщик в темноту. — Рядом с ним — тише. А сегодня пишущий вернулся и пишет дальше. — Он повернул голову. — Понимаешь, в чём беда, командир? Молчание было не моё. Когда Азарт ушёл, в голове снова открыли окно. Но окно — не моё окно. Моё окно было с той стороны. Это — с этой. Кто-то на юге читает меня изнутри, и читает громко. А я всё это время думал, что болею.

Крестоносец хотел ответить. Гробовщик не дал:

— Если я начну считать вслух чужой счёт — считайте меня бешеным, а не святым. На юге это разные статьи. И у меня другой статьи нет.

Он повернулся на бок — шаг на твёрдое, шаг на мягкое — и заснул. Дыхание выровнялось в такт голосу.

* * *

Второй час после полуночи. Эйра сидела у малого огня и смотрела в воду криницы — вода стояла чёрная и ровная, и

звёзды в ней не дрожали, потому что вода была глубже, чем дрожь.

Голос Рорана шёл вдоль дороги и считал.

Эйра заметила раньше Крестоносца — она считала быстрее всех в отряде, и это было её проклятием, как слух у глухих. Голос считал не их шаги. Их он доводил днём, на похоронном ритме, и они лежали в нём, как лежат дописанные строки: сплошные, закрытые. Ночью голос взял новый счёт.

Счёт шёл по дороге — на юг. Долгий, ровный, на шаг живого человека, который шёл в темноте, не сбиваясь. Человек шёл не торопясь и не прислушиваясь — так идут те, кто не знает, что его считают.

— Встречный? — спросил Крестоносец, не открывая глаз.

— Попутный, — сказала Эйра. — Один. Пешком. Идёт твёрдо, как идут те, кто знает дорогу лучше, чем эту дорогу знают те, кто её построил.

— Кто он?

— Не знаю. Но голос знает. — Эйра подалась к огню. — Он считает его с такой же строгостью, как считал нас. И паузы делает на тех же числах. Ты понимаешь, что это значит? Голос считает не того, кто идёт рядом с ним. Голос считает того, кого ведёт. Он ведёт двоих. Одного — нас. Второго — того, кто пойдёт впереди.

Крестоносец открыл глаза. Он смотрел в темноту туда, где дорога уходила на юг, и слушал. Голос дошёл до числа и не остановился на нём — перешёл через, как переходят грани-

цу, которую знает один только он.

— Он ведёт его к деревне, — сказала Эйра. Она не сказала «к нашей». — К Рорану. Той, где режут солнышки.

— Как ты знаешь?

— Я считаю, — сказала Эйра. — А по верстам и валу видно. И ещё я знаю одно. — Она подняла на него глаза. — Мёртвые не берут новых на счёт. Мёртвые доводят тех, кого взяли. Взять нового — это работа живых. Голос берёт работу живых. Значит, живых, которые должны были это делать, уже нет. Или уже нет их права.

Она не объяснила, чьего права — но Крестоносец услышал: писцов. Тех, кто на севере вёл счёт. Тех, чья рука была в ларце, — и та же рука теперь стояла под бумагой на заставе.

К утру голос пересчитал попутного до поворота. Попутный свернул на юг. Голос остался.

Эйра смотрела на столб у криницы, где старым углём был нарисован знак: три черты и точка. Ниже — четвёртая черта, свежая, другой рукой, и под ней — маленькая зарубка, как будто кто-то считал не людей. Кто-то считал знаки.

— Пятый, — сказала Эйра.

— Пятый что?

— Пятый знак от заставы, — сказала Эйра. — И первый, у которого есть ответ. Кто-то отвечал тем, кто ставил. — Она провела пальцем над зарубкой, не касаясь. — Сеть не просто переживает. Она считает, сколько её осталось.

И голос Рорана, считавший в темноте чужие шаги, замед-

лился на числе, где ступал Гробовщик. Мёртвый держал паузу для живого. А живой во сне повторял своё: шаг на твёрдое, шаг на мягкое, — и никто во сне не знал, что это последнее, что он умел делать чисто.

Глава 8. Развилка без счёта

Дорога выровнялась. Это было слышно раньше, чем понято: колея легла ровно, копыта попали в старые следы, и весь ход повозки сошёлся с ритмом, который по ночам шёл западнее дороги. Отряд шёл в такт чужому счёту уже второй день — и Эйра называла это роскошью, которой стоит бояться.

— Дорога стала тише, чем мы, — сказала она утром. — На севере дорога слушала шаги и запоминала. Здесь она слушает то, что слушают за нас. Роран вписывает наш счёт в свой. Пока мы совпадаем с ним — совпадаем и с дорогой. Совпадение — это не защита. Это подпись.

Гробовщик тупил всё плотнее. Он путал село с местом работы, называл «Новым Поречьем» ограду, которая стояла на сорок вёрст севернее, просил не тревожить его до темноты — и Эйра замечала то, чего боялась заметить: пока карта Азарта лежала у него на коленях, голова его молчала. Забирали карту — он снова накрывал темя ладонью и кивал в пустоту, здороваясь с теми, кого не было.

Она не сказала об этом вслух. Некоторые наблюдения надо проносить молча, как проносят ножи через заставы.

К полудню дорога привела их к карте, которая врала. Не врала — Эйра исправила бы себя — показывала тракт, которого не было на земле: ровная линия через болотину, на

которой никто не ездил с тех пор, как болото перестало быть проезжим.

— Листы не умеют врать, — сказал Гробовщик с закрытыми глазами, не поднимая головы. — Врать умеют те, кто их чертит. А он не чертил. Он переписал.

— Переписал что?

— То, что стёрли. — Гробовщик открыл глаза. В них была не муть, которой боялись неделю, — была работа. — На стёртом месте всегда остаётся ровность. Дорогу не стирают криво. Вспомни заставу: окно под одно лицо, «лишних не бывает, бывает недостающий». Здесь та же рука. Считающая.

Эйра подвела итог раньше, чем хотела:

— Он рисует не будущее. Он рисует то, что стёрли.

И в этом и была беда: если карта показывает стёртое, то стёртым было их направление. Их стёрли с этой дороги раньше, чем они по ней пошли, — и кто-то уже это знал.

К вечеру тракт поднялся на гряду, и впереди открылась развилка. Две дороги уходили в низину: правая — ширённая, накатанная, по ней лежали следы телег, лопаты, воронья; левая — узкая, травой заросшая не потому, что травой, а потому, что по ней давно не ходили те, кто считает.

Голос Рорана на развилке замолчал.

Он молчал так, как молчит вода подо льдом: не оборвался — ушёл вглубь. Эйра ждала. Крестоносец ждал. Даже Гробовщик, боровшийся со своей головой, ждал — потому что

понимал лучше всех, что значит, когда мёртвый молчит в месте, где нужно выбирать.

— Мёртвый не выбирает за живых, — сказала Эйра наконец, и это было не утешение, а правило. — Он вписывает то, что выбрали. До выбора он нем.

— Тогда мы выбираем вслепую, — сказал Крестоносец.

— Всегда выбираем вслепую. Просто раньше слепота была в нас, теперь она в счёте.

Эйра подъехала к левой дороге и посмотрела на неё так, как смотрят на родину, с которой не прощаются, потому что прощание уже было — и не завершилось.

— Лоцманский тракт, — сказала она. — По нему ходили мои. К дому седьмому. Только не к нашему — к старому, который разобрали, когда перекочевали к морю.

— Дом, который разобрали?

— Дом, который посчитали. Разница есть. Разобрать — это снять и увезти. Посчитать — это снять и переписать, что увезли. Первый дом исчезает. Второй остаётся строкой в чужой книге.

Ночью Гробовщика накрыло. Он сел у костра, закрыл глаза и сказал — ровно, без запинки, так, как не говорил ничего уже неделю:

— По Лебяжьему.

Эйра встала так резко, что с плетня сорвалась сорока. «По Лебяжьему» — это имя лоцманского тракта. Её имени, детского, не записанного нигде: у лоцманов имена дорог пере-

давались изо рта в рот, на севере дороги называли, а на юге — замалчивали. Этого слова не было ни на карте, ни в грамотах, ни в той книге, которую Эйра держала в себе с детства.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Крестоносец.

Гробовщик открыл глаза. В них было изумление человека, которому показали его же почерк на бумаге, которую он не писал.

— Не знаю. — Он помолчал. — Я этого слова не знаю. Я его сказал. Значит, не я говорил.

— Тот, кто пишет в твоей голове, — сказал Крестоносец.

Гробовщик кивнул — и это был первый кивок за неделю, которого не боялись. Признание было дороже испуга: за год с этими людьми он научился говорить правду вслух, и правда была легче милосердия.

— Тот, кто пишет в моей голове, знает дорогу так, как знают те, кто по ней ходил. Значит, он был лоцманом. Или он сидит в том доме, который посчитали. — Гробовщик положил ладонь на темя. — Значит, мне не надо бояться голоса. Мне надо бояться, что однажды он напишет меня туда же.

Выбор делали без счёта. Крестоносец встал на развилке — оба тракта перед ним, оба ровно одинаково темны — и сказал так, как в его мире говорят о вере:

— Пойдём влево. Не потому, что карта. Потому что на левой дороге их никто не прочтёт. Пусть игрок думает, что мы его фигуры. Фигуры, которые знают, что они фигуры, —

уже не фигуры.

Гробовщик добавил — и по тону это был его прощальный дар отряду, хотя никто ещё не знал, что это было прощанием:

— Дорогу стёрли не потому, что она плохая. Дороги не стирают за плохость. Дорогу стирают за то, что по ней нельзя было посчитать ходивших.

Они поехали влево — туда, где была трава, а не колея, — и голос Рорана вернулся. Он не продолжил старый счёт. Он начал новый — с единицы, как начинают запись в чистой книге.

— Нас переписали, — сказала Эйра и от этого поняла страшнее, чем от любой грамоты. — Роран пишет нас заново. С начала. Если счёт начинается с единицы — значит, мы здесь уже не в первый раз.

На третьем шаге нового счёта голос прибавил единицу, которой у них не было: их было трое, а он сосчитал четверых.

Впереди по тракту шёл ещё кто-то.

Глава 9. Тот, кто не забрал выигрыш

Тракт вёл вниз, к низине, и по нему не осталось ни одного следа — ни конского, ни человеческого, ни колеса. Так не бывает на дорогах, даже на заброшенных: заброшенные дороги хранят старые следы, как вдовы хранят свадебные платья. Здесь следов не было совсем.

Эйра поняла раньше, чем оглянулась, кто здесь прошёл первым.

— Азарт, — сказала она. — По его следам дороги не идут. Дороги не считают его. Смотри: трава примята, где шли мы. Там, где шли он, — стоит.

Они шли весь день — и вечером на краю оврага нашли знак: три черты и точка, выцарапанные на ольхе. Но знак был не тот, что на столбах в первый день пути: под точкой лежала свежая, ещё сочащаяся соком четвёртая черта — и она была направлена вправо. К морю.

— Сеть, — сказала Эйра. — Она проголосовала.

— За что? — спросил Крестоносец.

— За нас. Четвёртая черта — это не счёт. Это ответ. Кто-то из сети уже знает, что мы идём к деревне, и направил остальных туда же. Или... — она не договорила. Или — от нас.

Они шли ещё час, когда тропу перерезал попутный.

Он стоял на открытом месте, спиной к ним, лицом к югу — там, где за полосой низин слабое ночное сияние говорило, что кусочек солнца ещё горит. Человек без лица: не в том смысле, в каком без лица Крестоносец, — у того лица не было вообще; у этого лицо было отвернуто, как отвертывается луна, когда не хочет, чтобы её узнавали в дороге.

Голос Рорана за время, пока они шли, считал уже двоих: отряд и его. Теперь он считал одного — за попутным, отсчитывая его счёт до конца.

— Он вас ждёт, — сказал попутный, не оборачиваясь. — Только он не знает, что ждёт.

— Кто? — спросил Крестоносец.

Попутный поднял руку и указал на юг — туда, где горело сияние. Потом опустил — и пошёл вниз, к морю, не оглядываясь. Голос Рорана пошёл за ним. Он отсчитывал последние: так отсчитывают не дни, а минуты, когда число конечное и знаешь его.

— Он не сказал, кто, — сказала Эйра.

— Он не знал, — сказал Гробовщик. И было от этого спокойнее и страшнее одновременно: попутный шёл наугад, как идут навстречу чужому горю, — и голос мёртвого шёл за ним, потому что мёртвому без конца строки нельзя.

К ночи тропу погнало к ольхе — к старой ольховой гряде, где они уже бывали, — к тем копям, о которых Гробовщик говорил: сюда ещё вернутся. Гряду обойти было нель-

зя: тракт шёл прямо через неё, и под одной из ольх, в ряд, лежали три ямы.

Ямы были свежие. Не выкопанные на днях — выкопанные на часы: земля на бруствере не просела, корни по краю не завяли, и от дна шло тепло, как от земли, в которую только что дышали.

— Это не для мертвецов, — сказал Гробовщик, наклоняясь над первой. — Мертвецы здесь ещё не умерли.

Он вылез из ямы. Посмотрел на вторую — и его лицо (то, которое он давал всем с поводьями и покойникам) изменилось так, как меняется счёт, когда в него вписывают чужое число.

— Здесь все три выкопаны не под тот рост, — сказал он тихо. — Здесь копали не под рост мертвецов. Здесь копали под рост живых.

Он стоял над ямами и считал что-то внутри себя — так, как раньше считал чужие смерти. Потом сказал Эйре и Крестоносцу то, что они оба услышали и оба предпочли не расслышать до утра:

— К ямам ночью ходят только по работе. Я их работодатель. Оставьте мне лопату и ночь.

И остался. Один. Со своей лопатой — на краю гряды, под ольхой, где ночью начинался туман.

Глава 10. Туман шёл за ним по работе

Вечером Гробовщик объяснил отряду своё последнее «рабочее» — так, как объясняют наёмным работникам смену: коротко, без пафоса, с той ровностью, за которой у таких людей прячется всё, что не должно дрожать.

— К ямам ночью ходят только по работе. Я их работодатель. Не идите за мной. Если я не вернусь до рассвета — считайте, что смена закончилась.

Он поправил шляпу движением, каким поправляют её над могилой, и ушёл к ольхе. Не оглянулся. Люди, которые собираются вернуться, оглядываются дважды: один раз — чтобы запомнить, второй — чтобы себя проверить. Он не оглянулся ни разу.

Туман пришёл с моря — густой, низкий, того рода, который южная земля ещё не научилась считать, потому что не считает сама. Он шёл за Гробовщиком по гряде и ложился в ямы, как ложится вода в следы на берегу: без спроса и без остатка.

И в тумане писатель в его голове замолчал.

Не уснул. Замолчал — окончательно, как замолкает переписчик, когда рука у него отнялась. И в этой тишине заговорили другие. Голоса шли со всех сторон тумана — из ям,

из-под ольх, из-под самой земли, — и каждый голос принадлежал тому, кого Гробовщик закапывал. Они были все израненные — не на теле, на том, чем телом перестают быть: рваные, недопетые, недоданные, умершие там, где их смерть не успели досчитать.

— Почему не спас?

— Почему не спас?

— Ты знал. Ты ходил по нашим могилам и знал, что мы ещё живы, когда тебя вызывали. Ты знал.

— Я не спасаю, — сказал Гробовщик — и голос его сорвался впервые за всю дорогу. — Я забираю. Разница есть.

— Разницы больше нет, — сказали из тумана. — Теперь ты наш.

И его ноги пошли сами.

Он не вел их. Он шёл в туман так, как идут по чужому приказу, — и впервые с детства не вёл счёт. Счёт вели за него: он слышал, как его шаги отсчитывают сверху вниз, с юга на север, из будущего в прошлое, — и не мог вмешаться, потому что тот, кто вёл счёт, уже поставил его шаги на место, где их вписали в общую строку.

— Должен умереть, — сказали голоса — все сразу, хором, тем самым, которым на севере читают приговоры. — Потому что знал.

И он понял. Знание, которым не воспользовались, — это воровство у мёртвых. Он знал чужие смерти и не воспользовался ни одной. Он ходил по краю своих могил и вписывал в

них числа, и число всегда сходилось, а счёт — не спасал. Теперь он знал, почему: счёт не спасает. Счёт — это то, чем после смерти считают. Мёртвым без конца строки нельзя. Вот они и шли досчитывать.

Души побежали на него — из тумана, из ям, из-под корней ольх: не тени, не видения — те самые израненные, которых он не спас. Он бежал последние три шага. Упал на колени у средней ямы. Заплакал — и узнал в этих слезах не страх, а другое: то, что он ни разу не успел, — ни одной из тех смертей, которые он закапывал, не был бы он мог отдать их обратно.

Он поднял лопату. Ту самую — которой всю жизнь закапывал трупы, той, которой «ложил головы чужим».

— Сталь, которая всю жизнь ложила головы чужим, легла по своей, — сказал он туману. — Досчитал.

И оторвал себе голову. Со слезами на лице.

Туман не рассеялся до утра.

* * *

Рассвет на гряде был серым и ничьим. Отряд вышел к ольхам — и первым, что увидели, была шляпа.

Она лежала ровно на краю средней ямы. Не свалилась, не сорвалась ветром — положена. Так не оставляют вещи. Так оставляют, когда уходят.

Лопата была воткнута в землю у ямы черенком вверх — не как бросают инструмент: брошенная лопата падает. Воткнутая — это знак. Так ставят кресты. Так отмечают, что

здесь кончилась работа.

Гробовщика не было. Ни тела, ни крови, ни следов борьбы. Земля в ямах осталась нетронутой — только у средней, с края, было примято то, что приминает тело, падающее коленями.

Крестоносец стоял над ямой долго. Потом сказал то, что Эйра не решалась:

— Он плакал.

— Значит, успел, — сказала Эйра.

И только после этого она поняла, чего не поняла вечером: одна из трёх ям была выкопана не под того, кто придёт. Она была выкопана под него. Он копал свою.

Крестоносец копал могилу сам. Молча, до полудня, без единого слова — и это было правильно: на севере счёт за мёртвого ведут, а землю за мёртвого перекладывают. Считать за него — значит и закапывать за него.

Он надел шлем. Единственный раз за весь том — не чтобы спрятать лицо, а чтобы выдать своё лицо за чужую смерть: безликий человек берёт на себя чужую строку и делает её своей. Под шлемом его лица не было видно — и это было милосердием к живым: пусть они видят того, кто не плакал, потому что не может, а не того, кто не плакал, потому что плакал накануне.

Он счёл вслух. На юге, где за это вырывают язык, — вслух, по числам, с начала и до конца, как считают похороны: размеренно, без пропусков, доводя каждое до числа, чтобы ни-

кто не остался недосчитанным. Это было не молитвой и не богохульством. Это было поминовение — тем счётом, который умел только он.

И голос Рорана досчитал за мёртвого. На юге это называется поминовением: мёртвый считает за того, кто умер не досчитав. Гробовщик умер, не досчитав ни одной чужой смерти до спасения, — и Роран вписал в его строку то число, которого тот не успел.

Эйра сняла перчатку и провела пальцем по ольхе — там, где был знак. Три черты и точка оставались. Четвёртой черты больше не было: вместо неё поперёк всех трёх лежала косая — знак убыли, каким сеть сосчитала, что одного из её стало меньше. Или что одного стало больше — в зависимости от того, с какой стороны считать.

Крестоносец достал карту Азарта. Она лежала у него в дорожной сумке с той ночи, как Азарт сказал: «Вы пойдёте влево. Не сегодня. Но карта уже это знает». На карте, на том месте, где теперь стоял шлем, была точка.

Он не предсказывает. Он вовремя ставит точку.

К полудню, когда землю уже насыпали и крест северного образца вогнали в южную землю — крест там не держался, кресты на юге не приживались, — Эйра сказала то, что стало эпиграфом всей дороги:

— Он знал чужие смерти и не знал своей. Разница была. Теперь разница легла вместе с ним.

Глава 11. Дом, из которого считают

Утром третьего дня Эйра поймала счёт на смене рода.

— Он больше не считает вёрсты, — сказала она, не отрываясь от упряжи. — С рассвета — приметы. Ворона — раз. Ольха — два. Мост над канавой — три. — Она выпрямилась и посмотрела на юг, где дорога делала то, чего не делала до сих пор: сворачивала. — Так не считают в путь. Так считают дорогу домой.

Крестоносец поднял голову. Дорога сама сходила с тракта — на восток, к низкой чёрной гряде, над которой стояла ольха, мокрая и блестящая. Он узнал гряду раньше, чем голос назвал её: копи. Место, где Гробовщик сказал однажды: «нам ещё сюда возвращаться». Возвращаться пришлось без него. Лопата его лежала в телеге между мешками — так, как лежит инструмент, который не решились вынуть.

— Ты уверен, что это он ведёт? — спросил Крестоносец.

— В том-то и беда, — сказала Эйра. — Он не ведёт. Он возвращается. Мы просто оказались на его пути домой.

Голос Рорана не спорил. Он считал: ольха — четыре. Столб — пять. Первый дом — шесть.

* * *

Деревня стояла в ольховой низине: одиннадцать домов, накрытых солью старых лет, и ни одного человека на улице. Только в третьем доме от края курила печь — дым шёл ров-

но, не думая. Эйра спешилась и подошла к ближайшему косяку.

На косяке были зарубки. Много — годы вёрст счётом, как на севере. Эйра провела пальцем до последней. И остановилась.

Последняя зарубка была одна и та же во всех домах. Она проверила четыре косяка подряд, не говоря ни слова. Одиннадцать домов — один день. День, когда умерло солнце: она знала эту дату с дороги, её называли так, как называют даты затонувших кораблей.

— Они живы, — сказала она наконец. — Печи топят, воду носят. Но счёт у них встал. — Она стянула перчатку и положила ладонь на зарубку, как на пульс. — Дом, в котором перестали дышать глубоко. Я видела это один раз — на палубе, когда снимали с мели утопленника. Гребцы грести не перестали. Просто больше не дышали на каждом гребке.

— А этот дом? — Крестоносец кивнул на край деревни, где последняя избушка держала свежую зарубку. Одну — за все эти дни.

— Считает один, — сказала Эйра. — По одной на сутки. Кто-то в этом доме ещё живёт в счёте. Или живёт, чтобы считать за всех.

Голос Рорана подал голос впервые за утро — тихо, из-под земли, как будто шёл не по ветру, а из-под снега:

— Мёртвый не считает у своего дома. Дома считают мёртвых.

И замолчал. Совсем. До избушки на краю оставалось двадцать шагов, и в этих двадцати шагах их сопровождало то, чего они не слышали ни разу за год, — тишина.

* * *

Дверь открылась до стука.

Женщина стояла в проёме — в переднике, с ножом за поясом, которым режут то, что не срезают на еду. Она посмотрела на них так, как смотрят не на гостей, а на счёт, который сошёлся.

— Он считает, как дышал, — сказала она вместо приветствия. — Я его считаю по слогам всю жизнь. — Она отступила в глубину избы, освобождая порог. — Входите. Дым я не считаю, он сам.

Внутри избы были полки. Полки солнышек — вырезанных из светлого дерева, с лучами, выточенными так ровно, как ровнят только весы. Их были сотни. Эйра сосчитала до тридцати и остановилась, потому что поняла: счёт здесь не её.

— Ты режешь с дня, когда солнце умерло, — сказала она. Не спросила — сказала, потому что против этого не было мнения.

— Нет, — сказала женщина. — С того дня, как я пообещала.

Она села к столу, положила перед собой заготовку и нож — и Крестоносец заметил, что нож она держит не как держат инструмент, а как держат то, что собираются вручить.

— Он говорил с детства: если наше солнце умрёт, ты его вырежешь. — Она провела ножом по лучу. Стружка легла на стол ровной лентой. — Я тогда рассмеялась. Он не обиделся. Он не умел обижаться — он умел только считать. Я поняла это потом: он не шутил никогда. Он считал. Значит, и мой нож — по счёту. Я просто не знаю, чей.

Эйра достала письмо.

Она вынула его из соломы так, как вынимают из воды чужой корабль: бережно и не глядя внутрь. Бумага легла на стол между солнышками и ножом.

— Ливия писала с Рорана, слово в слово, — сказала Эйра. — Он диктовал медленно. Как диктуют то, что боятся не успеть.

Женщина прочла. Она читала долго — дольше, чем нужно было прочесть столько строк, — потому что половину читала не глазами. Потом взяла перо — своё, очинённое, — и молча протянула Крестоносцу.

— Он писал не мне, — сказала она. — Он писал тому, кто дойдёт. Я только передаю.

Крестоносец прочёл. Строки шли сухо и точно, как шёл их автор: дороги, приметы, счёт вёрст, предупреждение о грамоте, о заставе, о тумане. И последнее, оборванное:

«дальше я напишу то, чего не писал никому:»

Двоеточие стояло. За ним не было ничего.

— Он поставил его и ушёл, — сказала женщина, когда Крестоносец поднял глаза. — В тот день он и ушёл. Вниз.

— Она посмотрела в сторону гряды, где над ольхой чернели входы старых копей. — Копи мы с того дня не открывали. Письмо велит: не трогать, пока не дочитано. А дочитано оно быть не может. — Она положила перо на стол. — Он знал, что ставит.

Крестоносец перечитал двоеточие. За год он научился читать то, что не написано, — но не научился читать то, что не дописано. Разница была такой же, как между чужой смертью и своей.

Вечером Эйра вышла на порог и осталась стоять до темноты. Голос Рорана вернулся — не в избе, а над ней: он досчитывал солнышки на полках, по одному, ровно, как считал вёрсты. Потом дошёл до подоконника и прибавил единицу.

Эйра обернулась. На подоконнике лежало свежевырезанное солнышко — то, которое женщина вырезала днём и оставила. Лучами к дороге.

— Ему, — сказала женщина из темноты, не оборачиваясь. — Пусть по дороге найдёт.

За ольхой, на минуту, стало светлее. Эйра не стала смотреть, чем. Она уже знала, как на севере называют не чудо.

Это называется: счёт дошёл.

Глава 12. Счёт, который не закрыли

Утром сестра отказалась идти первой — и не пошла вообще.

— Я не хожу туда, где он не досчитал, — сказала она. — Копи его не отдали. Копи его забрали. Я не буду ходить по дому, который не отдаёт.

Она рассказала остальное — ровно, как рассказывают счёт, не как рассказывают горе. Роран ходил вниз трижды. Первый раз — смотреть. Второй — слушать. Третий — не вернулся. Деревня за ним не пошла.

— Почему? — спросил Крестоносец.

— Потому что мы уже не считали, — сказала она просто. — Кто не считает, не идёт вниз. Кто не идёт вниз, не досчитывает. Мы так и живём. — Она повернулась к Эйре. — Письмо велит копи не трогать, пока не дочитано. Дочитай — и делай что хочешь. Только сначала прочти то, что не написано. Этого никто не умеет.

Крестоносец стоял перед входом. Вход был в раме старого ствола — не южный, не северный: по дереву шла обивка зарубок, и ни одна не была похожа ни на счёт севера, ни на грамоту юга. Это был счёт третьего рода. И он не был закончен.

— Недописанное письмо нельзя дочитать, не дойдя до его

конца, — сказал он.

— Ты сейчас говоришь как Ливия, — заметила Эйра. — Это плохой знак. Ливия всегда была права ровно до того, как все умрут.

— Мы уже умирали один раз за этот год, — сказал Крестоносец. — И не все.

Он вошёл первым. Эйра постояла на пороге четыре удара сердца — она считала, потому что больше ей было нечего считать здесь, — и пошла следом.

* * *

Внизу была тишина, которая слушает.

Эйра знала две тишины: пустую — в трюме после выгрузки, и живую — когда за переборкой кто-то есть и не дышит. Здесь была третья. Она слушала шаги и возвращала их числом: не эхом — числом. Шаг — «один». Шаг — «два». Крестоносец поднял руку, Эйра остановилась, и счёт остановился с ними, как останавливается вода, к которой не повёрнутся спиной.

— Оно считает нас, — сказала она одними губами.

Голос Рорана умолк на входе. Совсем: как умолкает человек, вошедший в чужой дом без стука. Здесь его не было — и это было страшнее всего, что они слышали за год, потому что год учил их: пока Роран считает, живые не одни.

— Идём, — сказал Крестоносец. — Досчитаем до него.

Спуск шёл стволами старой выработки. Воздух был тёплым — как были тёплы три ямы под ольхой, копаные не для

мёртвых. Чем ниже, тем теплее. На девятой вёрсте вниз Эйра поняла, что дышать здесь легко — и что это неправильно: в старых копях не бывает тёплого воздуха. Здесь что-то дышало за них. И дышало ровно.

На развилке они нашли его.

Не Рорана — место, где его счёт оборвался. На стене, выбитой в породе, шла зарубка за зарубкой — счёт, который вёл один человек, и он обрывался на середине числа. Не кончался. Обрывался: последняя зарубка была глубже остальных, как будто резали с силой, которой уже не хватало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.